

Константин Станюкович

Куцый

Константин Михайлович Станюкович
Куцый
Серия ««Морские рассказы»»

Zmiy

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165660

К.М.Станюкович. «Морские рассказы»: Юнацтва; Минск; 1981

Содержание

I	4
II	11
III	19
IV	27
V	33
VI	39

Константин Михайлович Станюкович КУЦЫЙ

I

В роскошное, раннее тропическое утро на Сингапурском рейде, где собралась русская эскадра Тихого океана, плававшая в 60-х годах, новый старший офицер, барон фон дер Беринг, худощавый, долговязый и необыкновенно серьезный блондин лет тридцати пяти, в первый раз обходил, в сопровождении старшего боцмана Гордеева, корвет «Могучий», заглядывая во все, самые сокровенные, его закоулки. Барон только вчера вечером перебрался на «Могучий», переведенный с клипера «Голубь» по распоряжению адмирала, и теперь знакомился с судном.

Несмотря на желание педантичного барона в качестве «новой метлы» к чему-нибудь да придраться, это оказалось решительно невозможным. «Могучий», находившийся в кругосветном плавании уже два года, содержался в образцовом порядке и сиял сверху до низу умопомрачающей чистотой. Недаром же преж-

ний старший офицер, милейший Степан Степанович, назначенный командиром одного из клиперов, – любимый и офицерами и матросами, – клал всю свою добрую, бесхитростную душу на то, чтобы «Могучий» был, как выражался Степан Степанович, «игрушкой», которой мог бы любоваться всякий понимающий дело моряк.

И действительно, «Могучим» любовались во всех портах, которые он посещал.

Обходя медлительной, несколько развалистой походкой нижнюю жилую палубу, барон Беринг вдруг остановился на кубрике и вытянул свой длинный белый указательный палец, на котором блестел перстень с фамильным гербом старинного рода курляндских баронов Беринг. Палец этот указывал на лохматого крупного рыжего пса, сладко дремавшего, вытянув свою неказистую, далеко не породистую морду, в укромном и прохладном уголке матросского помещения.

– Это что такое? – внушительно и строго спросил барон после секунды-другой торжественного молчания.

– Собака, ваше благородие! – поспешил ответить боцман, подумавший, что старший офицер не разглядел в полутемноте кубрика собаки и принял ее за что-нибудь другое.

– Ду-рак! – спокойно, не повышая голоса, отекавил барон. – Я сам вижу, что это собака, а не швабра. Я спрашиваю: почему собака здесь? Разве можно на военном судне держать собак! Чья это собака?

– Конвертская, ваше благородие!

– Боцман... Как твоя фамилия?

– Гордеев, ваше благородие!

– Боцман Гордеев! Выражайся яснее; я тебя не понимаю. Что значит: корветская собака? – продолжал барон все тем же медленным, тихим и нудящим голосом, произнося слова с тою отчетливостью, с какою говорят русские немцы, и останавливая на лице боцмана свои большие, светлые и холодные голубые глаза.

Пожилой боцман, которого до сих пор все, кажется, отлично понимали, за исключением разве тех случаев, когда он, случалось, возвращался с берега пьяный вдрызг, недоумевавшая смотрел в бесстрастное, белое, отливавшее румянцем, безусое, продолговатое лицо, опушенное рыжеватыми бакенбардами в виде котлет, и, видимо, удрученный этим назойливым допросом, вместо ответа, ожесточенно заморгал своими маленькими серыми глазами.

– Так какая же это корветская собака?

– Матросская, значит, обчая, ваше благородие! – объяснил с угрюмым видом боцман и в то же время

сердито подумал: «Не понимаешь, что ли, долговязый!»

Но «долговязый», казалось, не понимал и сказал:

– Что ты мне вздор рассказываешь!.. У каждой собаки должен быть хозяин.

– То-то у ей нет, ваше благородие. Она приبلудная.

– Какая? – переспросил барон, видимо не зная значения этого слова.

– Приبلудная, ваше благородие. В Кронштадте увязалась за одним нашим матросиком и явилась на конверт, когда он вооружался в гавани. С той поры Куцый и ходит с нами. Так его называли по причине хвоста, ваше благородие! – прибавил в виде пояснения боцман.

– Собаки на военном судне – беспорядок. Они только гадят палубу.

– Осмелюсь доложить, ваше благородие, что Куцый собака понятливая и ведет себя, как следовало. За ей насчет этого ничего дурного не замечено! – вступился боцман за Куцего. – Прежний старший офицер Степан Степанович позволяли ее держать, потому как Куцый, можно сказать, исправная собака, и команда ее любит.

– Слишком много вам позволяли прежде, как посмотрю, и распустили. Я вас всех подтяну, слышишь? – строго заметил барон, которому объясне-

ния боцмана показались несколько фамильярными. И сам он, казалось, не особенно трепетал перед старшим офицером.

– Слушаю, ваше благородие.

Барон на секунду задумался и наморщил лоб, решая в своем уме участь Куцего. И боцман, весьма благоволивший к Куцему, со страхом ждал этого решения.

Наконец старший офицер проговорил:

– Если я когда-нибудь замечу, что эта собака изгадит мне палубу, я прикажу ее выкинуть за борт. Понял?

– Понял, ваше благородие!

– И помни, что я два раза не повторяю своих приказаний, – внушительно прибавил барон, по-прежнему не возвышая своего скрипучего однотонного голоса.

Боцман Гордеев, старый служака, выдавший на своем веку немало разного начальства и умевший понимать людей, и без этого предупреждения уже сообразил, что этот «долговязый», даром, что говорит тихо, без пыла, а такая «чума», с которой всем служить будет очень нудно, не то что со Степаном Степанычем.

Услыхав несколько раз свою кличку, Куцый потянулся, открывая глаза, лениво поднялся, сделал несколько шагов, выходя из темного угла поближе к свету, и, как смысленный, понимающий дисциплину, пес, при

виде незнакомого человека в офицерской форме почтительно вильнул несколько раз своим обрубок.

– Фуй, какая отвратительная собака! – брезгливо процедил барон, кидая взгляд, полный презрения, на невзрачную и неуклюжую большую дворнягу, с жесткой, всклокоченной рыжей шерстью, обгрызенными, стоящими торчком, ушами и широкой мордой, местами покрытой плешинами, словно изъеденной молью.

Только необыкновенно умные и добрые глаза Куцего, пристально оглядывавшие барона, несколько скрашивали его уродливую наружность. Но этих глаз барон, верно, не заметил.

– Чтоб я не встречал никакой этой мерзкой собаки! – проговорил барон.

И с этими словами он повернулся и поднялся наверх, сопровождаемый удрученным и нахмурившимся боцманом.

Поджав свой обрубок – следы злой шутки одного кронштадского повара, Куций побрел, прихрамывая на одну давно сломанную переднюю лапу, в свой темный уголок, чуя, надо думать, что не имел счастья понравиться этому долговязому человеку с рыжими баками и со злым взглядом, который не предвещал ничего хорошего.

Один матрос, слышавший слова старшего офицера, ласково потрепал общего корветского любимца,

который в ответ благодарно вылизывал шершавую матросскую руку.

II

Испытывая чувство тоскливого угнетения, обычное в простом русском человеке, которого донимают нотациями и жалкими словами, боцман еще целую четверть часа, если не более, выслушивал, стоя навытяжку в каюте барона и теребя в нетерпении фуражку, его длинные, обстоятельные и монотонные наставления о том, какие отныне будут порядки на корвете, чего он будет требовать от боцманов и унтер-офицеров, как должны вести себя матросы, что такое, по понятиям барона, настоящая дисциплина и как он будет беспощадно взыскивать за пьянство на берегу.

Отпущенный наконец из каюты с напутствием «хорошо запомнить все, что сказано, и передать кому следует», боцман радостно вздохнул и, весь красный, словно после бани, выскочил наверх и пошел на бак выкурить поскорей трубочку махорки.

Там его тотчас же обступили почти все представители баковой аристократии: фельдшер, баталер, подшкипер, машинист, два писаря и несколько унтер-офицеров.

– Ну что, Аким Захарыч, каков старший офицер? Как он вам показался? – спрашивали боцмана со всех сторон.

Боцман в ответ только безнадежно махнул своей волосатой, красной и жилистой рукой и сердито плюнул в кадку.

И этот жест, и энергичный плевок, и раздраженное выражение загорелого, красно-бурого лица боцмана, опущенного черными, с проседью, бакенбардами, с красным, похожим на картофелину, носом и с нахмуренными бровями, словом, все, казалось, говорило: «Дескать, лучше и не спрашивайте!»

– Сердитый? – спросил кто-то.

Но боцман не тотчас ответил. Он сделал сперва две-три отчаянные затяжки, сплюнул опять и, значительно оглядев всех слушателей, жаждавших услышать оценку такого умного и авторитетного человека, наконец выпалил, несколько понижая, однако, свой зычный голос, стяжавший горлу боцмана репутацию «медной глотки»:

– Прямо сказать: чума турецкая!

Столь убежденная и решительная оценка произвела на присутствующих весьма сильное впечатление. Еще бы! После двухлетнего плавания со старшим офицером, который, по выражению матросов, был «добер» и «жалел» людей, не обременяя их непосильными работами и учениями, дрался редко – и то с пыла, а не от жестокости – и снисходительно относился к матросской слабости – «нахлестаться»

на берегу, – иметь дело с «чумой» показалось очень непривлекательным. Немудрено, что все лица внешне сделались серьезными и задумчивыми.

С минуту длилось сосредоточенное и напряженное молчание.

– В каких, однако, смыслах он чума, Аким Захарович? – заговорил молодой, курчавый фельдшер, которому, по его должности, предстояло менее других опасности иметь столкновения со старшим офицером. Знай себе доктора да лазарет, и шабаш!

– Во всяких смыслах, братец ты мой, чума! То есть вовсе нудный человек. Зудит, как пила, и никакой не дает тебе передышки, немчура долговязая! Сейчас вот в каюте донимал. Глядит это на меня рыбьим глазом, а сам: зу-зу-зу, зу-зу-зу, – передразнил барона боцман. – Я, говорит, вас всех подтяну. У меня, говорит, новые порядки станут. Я, говорит, за береговое пьянство буду взыскивать во всей строгости... одно слово, зудил без конца... Совсем в тоску привел.

– Унтерцер, что вчерась на катере с «Голубя» привез нового старшего офицера, тоже его не хвалил. Сказывал, что карактерный и упрямый и всех на клипере разговором нудил, – вставил один из унтер-офицеров. – На «Голубе» все рады, что он ушел, потому приставал, ровно смола... А драться, сказывали, не дерется и не порет, но только наказывает по-своему:

на ванты босыми ногами ставит, на ноки на высидку посылает. Сказывал – очень придирчив и много о себе полагает этот самый... как его по фамилии?..

– Берников, что ли, – ответил боцман, переделывая немецкую фамилию на русский лад. – Из немецких баронов. А о себе он напрасно полагает, потому полагать-то ему нечего! – авторитетно прибавил боцман.

– А что?

– А то, что в ем большого рассудка незаметно. Это по всем его словам оказывает. И на понятие туг. Давеча, я вам скажу, не мог взять вдомяк, что Куцый конвертская собака... Какая, говорит, конвертская? Непременно ему хозяина подавай...

– Из-за чего у вас о собаке-то разговор вышел? – спросил кто-то.

– А вот поди ж ты! Не понравился ему наш Куцый, и шабаш! Нельзя, говорит, на судне держать собаку. И грозился, что прикажет выкинуть Куцего за борт, если он нагадит на палубе... И чтобы я, говорит, его не встречал!

– И что ему Куцый? Мешает, что ли?

– То-то все ему мешает, анафеме. И животную бессловесную, и тую притеснил... Да, братцы, послал нам господь цацу, нечего сказать. Другое житье пойдет. Не раз вспомним Степана Степаныча, дай бог

ему, голубчику, здоровья! – промолвил боцман и, выбив трубочку, опустил ее в карман своих штанов.

– Капитан-то наш ему большого хода не даст, я так полагаю, – заметил молодой фельдшер. – Не допустит очень-то безобразничать. Шалишь, брат! Не те нынче права... Вот теперь мужикам волю дают, и всем права будут, чтобы по закону...

– Не досмотреть-то всего капитану. Главная причина, что старший офицер ближе всего до нас касается! – возразил боцман.

– Можно и до капитана дойти в случае чего. Так, мол, и так! – хорохорился фельдшер.

– Прыток больно! А ты рассуди, что и капитану, стало быть, быдто зазорно против своего же брата идти и срамить его, скажем, из-за какого-нибудь унтерцера. В этом самая загвоздка и есть! Нет, братец ты мой, по одиночке жаловаться не порядок, только здря начальство расстроишь, а толку не будет – тебе же попадет! В старину бывала другая правила! – прибавил боцман, строго охранявший прежние традиции, так сказать, обычного матросского права.

– Какая, Аким Захарыч?

– А такая, что ежели, примерно, безо всякого, можно сказать, рассудка изматывали нашего брата, матроса, и вовсе уже не ставало терпения, значит, от тиранства, тогда команда шла на отчаянность: выстро-

ится, как следует, во фрунт и через боцманов объявит командиру претензию.

– И что ж, выходил толк?

– Глядя по человеку. Иной вместо разборки велит перепороть половину команды, ну а другой выслушает и рассудит по совести. Помню, раз, на смотру – я еще тогда первый год служил, – объявили мы адмиралу Чаплыгину претензию на командира Занозова – форменный зверь был! – так, вместо разборки дела, у нас на корабле, братец ты мой, целый день порка была... Так стон и стоял, и мне сто линьков всыпали – вот тебе и вся претензия! Опять же в другой раз тоже объявили мы претензию капитану Чулкову – теперь он в адмиралы вышел – на старшего офицера. Так совсем другой оборот. Выслушал это Чулков, насупимшись, грозный такой, однако обещал по форме рассудить...

– Ну, и что же? Рассудил?

– Рассудил. Через неделю старший офицер списался с фрегата, будто по болезни, и мы вздохнули... И ничего нам не было... Вот, братец ты мой, какие дела бывали...

– Ну, наш командир, небось, не даст команды в обиду!

– На капитана одна надежда, а все-таки не доглядеть ему за всем. Зазудит нас долговязая немца!

Еще несколько времени продолжались толки о но-

вом старшем офицере. Все решили пока что ждать поступков. Может, он и испугается капитана и не станет менять порядков, заведенных Степан Степанычем. Эти соображения несколько успокоили собравшихся. И тогда молодой писарек из кантонистов, отчаянный франт, с аметистовым перстеньком на мизинце, спросил:

– А как же теперь насчет берега будет, Аким Захарыч? Отпустит он нас на Сингапур посмотреть?

– Об этом разговору не было.

– Так вы доложили бы старшему офицеру, Аким Захарыч.

– Ужо доложу.

– Всякому лестно, я думаю, погулять на берегу. Здесь, говорят, в Сингапуре очень даже любопытно... И насчет красоты природы и насчет ресторантов... И лавки, говорят, хорошие... Уж вы доложите, Аким Захарыч, а то неизвестно еще, сколько простоим, того и гляди без удовольствия останемся.

В эту минуту на бак со всех ног прибежал молодой вестовой Ошурков и сказал боцману:

– Аким Захарыч! Вас старший офицер требует.

– Что ему еще?

– Не могу знать. У себя в каюте сидит и какие-то бумаги перебирает...

– Опять зудить начнет! Эка...

И, выпустив звучную ругань, боцман побежал к старшему офицеру.

– А ты у нового старшего офицера остаешься, Вань, вестовым? – спрашивали на баке у Ошуркова.

– То-то остаюсь. Ничего не поделаешь... Придется с им терпеть... По всему видно, что занозу мне бог послал заместо Степан Степаныча. Ужо он мне зудил насчет евойных, значит, порядков... Чтобы, говорит, как машина, все сполнял!



Ненависть нового старшего офицера к Куцему и его угроза выбросить матросскую собаку за борт были встречены общим глухим ропотом команды. Все, казалось, удивлялись этой бессмысленной жестокости – лишить матросов их любимца, который в течение двух лет плавания доставлял им столько развлечений среди однообразия и скуки судовой жизни и был таким добрым, ласковым и благодарным псом, платившим искренней привязанностью за доброе к нему отношение людей, которое он, наконец, нашел после нескольких лет бродяжнической и полной невзгод жизни на улицах Кронштадта.

Смышленный и переимчивый, быстро усваивавший разные предметы матросского преподавания, каких только штук ни проделывал этот смешной и некрасивый Куцый, вызывая общий смех матросов и удивляя их своею действительно необыкновенной понятливостью! И сколько удовольствия и утех доставлял он нетребовательным морякам, заставляя хоть на время забывать и тяжелую морскую жизнь на длинных океанских переходах и долгую разлуку с родиной! Он ходил на задних лапах с самым серьезным выражением на своей умной морде, носил поноску, лазил на ван-

ты и стоял там, пока ему не кричали: «С марсов долой», сердито скалил зубы и ворчал, если его спрашивали: «Куцый, хочешь, брат, линьков?» и, напротив, строил радостную гримасу, виляя весело своим обрубком, когда ему говорили: «Хочешь на берег?» Когда раздавался свисток и вслед затем окрик боцмана: «Пошел все наверх», Куцый вместе с подвахтенными летел стремглав наверх, какая бы ни была погода, и дожидался на баке, пока не свистали: «Подвахтенных вниз!» А во время шторма он почти всегда бывал наверху и развлекал вахтенных во время их тяжелых вахт. Когда свистали к водке, Куцый вместе с матросами присутствовал при раздаче и затем во время обеда обходил на задних лапах сидящих по артелям матросов, отовсюду получая щедрые подачки, и весело брехал в знак благодарности.

После обеда, когда подвахтенные отдыхали, Куцый неизменно ложился у ног Кочнева, пожилого и угрюмого бакового матроса, горького пьяницы, к которому питал необыкновенно нежные чувства и выказывал трогательную преданность. Он глядел матросу, что называется, в глаза и всегда почти вертелся около него, видимо, несказанно довольный, когда Кочнев погладит его. Во время ночных вахт Куцый обязательно бывал при Кочневе и, когда тот сидел на носу, на часах, обязанный смотреть вперед, Куцый неред-

ко исполнял вместо своего приятеля обязанности часового. Он добросовестно мок под дождем, продуваемый насквозь свежим ветром и, насторожив изгрызенные уши, зорко всматривался вперед, в темноту ночи, предоставляя матросу, закутанному в дождевик и согретому шерстью собаки, слегка вздремнуть, поклевывая носом. Завидев огонь встречного судна или внезапно выросший силуэт «купца», не носящего по беспечности огней, Куцый громко лаял и будил задремавшего часового. На берег Куцый всегда съезжал с Кочневым, шел с ним до ближайшего кабака и, отлучившись на часок, чтобы взглянуть на береговых собак, возвращался, иногда изгрызенный, к своему другу и уже не выпускал его из глаз. Он внимательно и с видимым сочувствием слушал пьяные монологи матроса, подавал реплики виляньем обрубка или ласковым визгом, если пьяный Кочнев вел с ним беседу на какие-нибудь, должно быть, невеселые темы, и сторожил матроса, когда тот валялся на улице в бесчувственном состоянии, пока не подходили товарищи и не подбирали его. Одним словом, Куцый выказывал истинно собачью привязанность к тому человеку, который доставил ему, гонимому бродяге, каждое утро рисковавшему попасть на аркан фурманщика, спокойный приют на корвете и сытую, приятную жизнь среди добрых людей, выразивших бродяге с первого

же дня его появления на корвете самое милое и любезное внимание, которого он уже давно не видал.

В свою очередь, и угрюмый, малообщительный матрос был сильно привязан к своему найденышу, показавшему такие блистательные способности, не говоря уже о прекрасных нравственных качествах, и, кажется, только с ним одним и вел под пьяную руку длинные интимные беседы. Он рассказывал Куцему о том, как он неправильно, из-за одного «подлого человека», был сдан в матросы, и о своей жене, которая живет вроде быдто «форменной барыни», и о дочери, которая знать его не хочет... И Куцый, казалось, понимал, что этот угрюмый матрос, пивший джин стаканчик за стаканчиком в каком-нибудь иностранном кабачке, рассказывает невеселые вещи.

Знакомство с Куцым произошло совершенно случайно. Это было в Кронштадте в один ненастный и холодный воскресный день, после обеда, дня за три до отхода «Могучего» в кругосветное плавание. Порядочно «треснувши» и выписывая ногами самые затейливые вензеля, Кочнев возвращался из кабака на корвет, стоявший в военной гавани, как где-то в переулке заметил собаку, угрюмо прижавшуюся к водосточной трубе и вздрагивающую от холода. Жалкий вид этой намокшей, с выдающимися ребрами, видимо, бесприютной собаки и притом самой неказистой наружности,

обличавшей бродягу, тронул пьяненького матроса.

– Ты, брат, чей будешь?.. Видно, бездомный пес, а? – проговорил он заплетающимся языком, останавливаясь около собаки.

Собака подозрительно взглянула своими умными глазами на матроса, точно соображая: дать ли ей немедленно тягу или выждать, не уйдет ли этот человек. Но несколько дальнейших слов, произнесенных ласковым тоном, видимо, успокоили ее насчет его недобрых намерений, и она жалобно завывала. Матрос подошел еще ближе и погладил ее; она лизнула ему руку, видимо, тронутая лаской, и завывала еще сильнее.

Тогда Кочнев стал шарить у себя в карманах. Этот жест возбудил в собаке жадное внимание.

– Голоден, небось, бедный! – говорил матрос. – А ты потерпи... Вот и нашел, на твое счастье! – прибавил он, вынимая наконец из штанов медную монетку.

Он зашел в мелочную лавочку и через минуту бросил собаке куски черного хлеба и обрезки рубцов, купленных им на свои непропитые еще две копейки.

Собака с алчностью бросилась на пищу, и в несколько секунд сожрала все, и снова вопросительно смотрела на матроса.

– Ну, валим на конверт... Там тебя накормят до отвала, коли ты такой голодный... Матросы – добрые ребята... Не бойся! И переночуешь на конверте, а то что

за радость мокнуть на дожде... Идем, собака!

Он ласково свистнул. Собака двинулась за ним, и не без некоторого смущения вошла по сходням на корвет, и вслед за матросом очутилась на баке среди толпы людей, испуганная и будто сконфуженная своим непривлекательным видом.

– Бродягу, братцы, нашел! – проговорил Кочнев, указывая на собаку.

Несчастный ее вид возбудил жалость в матросах. Ее стали гладить и повели вниз кормить. Скоро она, наевшись досыта, заснула недалеко от камбуза (кухни) и, не веря своему счастью, часто тревожно просыпалась во сне.

Наутро, разбуженная чисткой верхней палубы, собака испуганно озиралась, но Кочнев значительно успокоил ее, поставив перед ней чашку с жидкой кашницей, которой завтракали матросы.

Спустя несколько времени, когда палуба была вымыта, Кочнев вывел ее наверх на бак и предложил матросам оставить ее на корвете.

– Пуцай плавает с нами.

Предложение было принято с полным сочувствием. Обратились к боцману с просьбой испросить разрешение старшего офицера, и, когда разрешение было получено, на баке поднялся вопрос, какую дать этому псу кличку.

Все посматривали на весьма неказистую собаку, которая, в ответ на ласковые взгляды, повиливала обрубком хвоста и благодарно лизала руки матросов, которые гладили ее.

– Окромя как Куцым никак его не назвать! – предложил кто-то.

Кличка понравилась. И с той же минуты Куцый был принят в число экипажа «Могучего».

Первоначальным воспитанием его занялся Кочнев и выказал блестящие педагогические способности. Через неделю уже Куцый понял неприкосновенность сверкавшей белизной палубы и строгость моряков относительно чистоты и сделался исправной собакой. В первую же трепку в Балтийском море он обнаружил и свои морские качества. Его нисколько не укачивало, он ел с таким же аппетитом, как и в тихую погоду, и не выказывал ни малейшего малодушия при виде громадных волн, разбивающихся о бока корвета. Вскоре смысленый и ласковый Куцый сделался общим любимцем и забавлял матросов своими штуками.

И такого-то славного пса грозили выкинуть за борт! Весть об этом взволновала едва ли не более всех Кочнева, и он решил принять все меры, чтобы этот «долговязый дьявол» не встречал Куцего. И в тот же день, когда Куцый с веселым беззаботным видом выскочил наверх, как только что просвистали к водке,

Кочнев отвел его вниз и, указав место в самом темном уголке кубрика, проговорил:

– Сиди, Куцый, здесь смирно, а то беда! Ужо я принесу тебе пообедать!

IV

Прошел месяц.

За это время матросы достаточно присмотрелись к новому старшему офицеру и невзлюбили его. Он, правда, до сих пор никого не наказал линьками, никого не ударил и вообще не обнаруживал жестокости, и тем не менее барона ненавидели за его придирчивость, мелочность, за то, что он приставал, «как смола», «зудил» провинившегося в чем-нибудь матроса без конца и затем наказывал самым чувствительным образом: оставлял виноватого без берега, лишая таким образом матроса единственного удовольствия дальних плаваний. А то ставил на ванты или посылал на «высидку» на нок и – что казалось матросам еще обиднее – оставлял без чарки водки, столь любимой моряками.

Барона ненавидели и боялись и за эти наказания, и за его бессердечный педантизм, не оставлявший без внимания ни малейшего отступления от расписания судовой жизни. Все чувствовали над собой гнет какой-то бездушной, упрямой машины и, главное, понимали, что в душе барон презирает матроса и смотрит на него исключительно как на рабочую силу. Никогда ни доброго слова, ни шуточки! Всегда один и тот же

ровный и спокойный скрипучий голос, в котором чуткое ухо слышало высокомерно-презрительную нотку. Всегда этот жесткий взгляд голубых бесстрастных глаз!

Не пользовался он и уважением как моряк. На баке, этом матросском клубе, где даются меткие оценки офицерам, находили, что он далеко не орел, каким был Степан Степаныч, а мокрая курица, выказавшая трусость во время шторма, прихватившего корвет по выходе из Сингапура. И дело он, по мнению старых матросов, понимал не до тонкости, хотя и всюду совал свой нос. И «башковатости» в нем было немного, а только одно упрямство. Одним словом, барона терпеть не могли и иначе не звали, как «Чертовой Зудой». Всякий опасался его наставлений, словно чумы.

Вначале барон вздумал было изменить порядки на корвете и вместо прежних недолгих ежедневных учений стал «закатывать» учения часа по три подряд, утомляя матросов и без того утомленных шестичасовыми вахтами на ходу. Но, спасибо капитану, он скоро умерил усердие старшего офицера.

И об этом юркий капитанский вестовой Егорка рассказывал на баке так:

– Призвал он этто, братцы, Чертову Зуду к себе и говорит: «Вы, говорит, Карла Фернандыч, напрасно новые порядки заводите и людей зря мучаете учениями.

Пусть, говорит, по-старому остается».

– Что ж на это Зуда?

– Покраснел весь, словно рак вареный, Зуда проклятая, и в ответ: «Слушаю-с, говорит, но только я полагаю, что как для пользы службы...» – «Извините, господин барон, – это ему капитан в перебой, – я, говорит, и без вас понимаю, какая, говорит, польза службы есть... И польза, говорит, службы требует, чтобы матросов зря не нудили. Ему, говорит, матросу, и без ученьев есть дела много, вахту справлять, и у нас, говорит, матросы лихо работают, и молодцы, говорит... Так уж вы о пользе службы не извольте очинно беспокоиться... а затем, говорит, я больше ничего не желаю вам сказать...» Так, черт долговязый, и ушел ошпаренный! – заключил Егорка к общему удовольствию собравшихся матросов.

Вообще барон фон дер Беринг пришелся как-то не ко двору со своими новыми порядками и взглядами на дисциплину. В кают-компании нового старшего офицера тоже невзлюбили, особенно молодежь, вся пропитанная новыми веяниями шестидесятых годов и жаждавшая приложить их к делу гуманным обращением с матросами. Чем-то старым, архаическим веяло от взглядов барона, завязанного крепостника и консерватора. Безусловно честный и убежденный, не скрывавший своих, как он говорил, священных принципов,

всегда несколько напыщенный и самолюбивый, прилизанный и до тошноты аккуратный, барон возбуждал неприязнь в веселых молодых офицерах, которые считали его ограниченным, тупым педантом и сухим человеком, мнившим себя непогрешимым и глядевшим на всех с высоты своего курляндского баронства. Не нравился он и париям флотской службы: штурману, артиллеристу и механику. И без того обидчивые и мнительные, они отлично чувствовали в его изысканно-вежливом обращении снисходительное презрение завзятого барона, сознающего свое превосходство.

Не пришелся по вкусу новый старший офицер и капитану. Он не очень-то был благодарен адмиралу, наградившему его такой «немецкой колбасой», и не догадывался, конечно, что хитрый адмирал нарочно назначил барона старшим офицером именно к нему, на «Могучий», уверенный, что командир «Могучего» скоро «сплавит» барона, и адмирал таким образом «умоет руки» и отошлет его с эскадры в Россию.

В кают-компании почти никто не разговаривал с бароном, исключая служебных дел, и он был каким-то чужим в дружной семье офицеров «Могучего». Только мичмана подчас не отказывали себе в удовольствии подразнить барона, громя крепостников и консерваторов, не понимающих значения великих реформ, и расхваливая в присутствии барона Степана Степано-

вича. «Вот-то приятно было с ним служить! Вот-то был знающий и дельный старший офицер и добрый товарищ! И как его любили матросы, и как он сам понимал матроса и любил его! И как они для него старались».

– Его даже и Куцый любил! – восклицал курчавый белокурый мичман Кошутич, особенно любивший травить эту «немецкую аристократическую дубину». – А Куцего что-то не видать нынче наверху, господа... Прячется, бедная собака. Что бы это значило, а? – прибавлял нарочно мичман, знавший об угрозе старшего офицера.

Барон только надувался, словно индюк, не обращая, по-видимому, никакого внимания на все эти шпильки, и с тупым упрямством ограниченного человека не изменял своего поведения и как будто игнорировал общую к себе нелюбовь.

В течение этого месяца Куцый действительно не показывался на глаза старшего офицера, хоть сам и увидал его еще раз издали, причем Кочнев, указавший на барона, проговорил: «Берегись его, Куцый!» и проговорил таким страшным голосом, что Куцый присел на задние лапы. Прежняя привольная жизнь Куцего изменилась. По утрам, во время обычных обходов старшего офицера, Куцый скрывался где-нибудь в уголке трюма или кочегарной, указанном ему Кочневым, который немало употреблял усилий, чтоб

приучить собаку сидеть, не шелохнувшись, в темном уголке. И во время авралов уж Куцый не выбегал наверх. Благодаря урокам своего наставника, довольно было проговорить: «Зуда идет», чтобы Куцый, поджав свой обрубок, стремительно улепетывал вниз и забивался куда-нибудь в самое сокровенное местечко, откуда выходил только тогда, когда раздавался в люк успокоительный свист какого-нибудь матроса. На верхнюю палубу Куцего выводили матросы в то время, когда барон обедал или спал, и в эти часы забавлялись по-прежнему забавными штуками умной собаки. «Не бойся, Куцый, – успокаивали его матросы, – Зуды нет». И матросы, оберегая своего любимца, ставили часовых, когда Куцый, бывало, давал свои представления на баке. Только по ночам, особенно по темным, безлунным тропическим ночам, выпавшийся за день Куцый свободно разгуливал по баку и дружелюбно вертелся около матросов, но уже не дежурил с Кочневым на часах, не смотрел вперед и не лаял, как прежде, при виде огонька. Кочнев его не брал с собою, оберегая своего фаворита от гнева Чертовой Зуды, которого угрюмый матрос ненавидел, казалось, больше, чем другие.

Но, несмотря на все эти предосторожности, над бедным Куцым в скором времени разразилась гроза.

V

Был знойный палящий день в Китайском море. На голубом небе – ни облачка, и на море стоял мертвый штиль. Еще с рассвета наступило безветрие, паруса лениво повисли, и капитан приказал развести пары. Скоро загудели пары, и «Могучий», убрав паруса, пошел полным ходом, взяв курс на Нагасаки.

Старший офицер, особенно заботившийся о том, чтобы «Могучий» пришел в Нагасаки, где адмирал назначил рандеву, в щегольском виде, уже в третий раз обходил сегодня корвет, придираясь ко всем и дони-мая всех своими нотациями. Он, видимо, был не в духе, хотя все было, в идеальном порядке, все наверху горело и сияло под блестящими лучами ослепительного, жгучего солнца, повисшего, словно раскаленный шар, над заштилевшим морем. Барон только что имел снова не особенно приятное объяснение с капитаном и считал себя несколько обиженным. В гамом деле, все его предположения, направления, как он был уверен, к пользе службы, систематически отвергались этим «бесхарактерным человеком», как презрительно называл барон капитана, и отношения их с каждым днем все делались суше и суше. Вдобавок и эти мичмана то и дело подпускали ему всякие

шпильки, но так, что не было никакой возможности сделать им замечание. И барон, озлобленный и надутый, высокомерно думал о том, как трудно служить порядочному человеку с этими глупыми русскими демократами, не понимающими настоящей дисциплины и готовыми подрывать престиж власти.

Спустившись в жилую палубу и занятый своими размышлениями, он без обычного внимания заглядывал во все уголки, приближаясь к кубрику, как вдруг мимо его ног стремглав пронесся Куцый и выбежал наверх.

– Мерзкая собака! – проговорил барон, несколько испуганный неожиданным появлением Куцего, и, остановившись, невольно взглянул на место, по которому тот пробежал.

И в то же мгновение взгляд барона впился в одну точку палубы, как раз под люком трапа, ведущего на бак, и на лице его появилась брезгливая гримаса.

– Боцмана послать! – крикнул барон.

Через несколько секунд явился боцман Гордеев.

– Что это такое? – медленно процедил барон, указывая пальцем на палубу.

Боцман взглянул по направлению длинного белого пальца с перстнем и смутился.

– Что это такое, спрашиваю я тебя, Гордеев?

– Сами извольте видеть, ваше благородие...

И боцман угрюмо назвал, что это такое.

Барон выдержал паузу и сказал:

– Ты помнишь, что я тебе говорил?

– Помню, ваше благородие! – еще угрюмей отвечал боцман.

– Так чтобы через пять минут эта паршивая собака была за бортом!

– Осмелюсь доложить, ваше благородие, – заговорил боцман самым почтительным тоном, полным мольбы, – что собака нездорова... И фершал ее осматривал, говорит: брюхом больна, но только скоро на поправку пойдет... В здоровом, значит, виде Куцый никогда бы не осмелился, ваше благородие!.. Простите, ваше благородие, Куцего! – промолвил боцман дрогнувшим голосом.

– Гордеев! Я не имею привычки повторять приказаний... Мало ли какого вы мне наврете вздора... Через пять минут явись ко мне и доложи, что приказание мое исполнено... Да выскоблить здесь палубу! – прибавил барон.

С этими словами он повернулся и ушел.

– У, идол! – злобно прошептал вслед барону боцман. Он поднялся наверх и взволнованно проговорил, подходя к Кочневу, который поджидал Куцего, чтоб увести его вниз.

– Ну, брат, беда... Сейчас Чертова Зуда увидал вни-

зу, что Куцый нагадил, и...

Боцман не окончил и только угрюмо качнул головой.

Кочнев понял, в чем дело, и внезапно изменился в лице. Мускулы на нем дрогнули. Несколько секунд он стоял в каком-то суровом, безмолвном отчаянии.

– Ничего не поделаешь с этим подлецом! А уж как жалко собаки! – прибавил боцман.

– Захарыч!.. Захарыч!.. – заговорил наконец матрос умоляющим, прерывающимся голосом. – Да ведь Куцый больной... Рази можно с больной собаки требовать? Уж, значит, вовсе брюхо прихватило, ежели он решился на это... Он умный... Понимает... Никогда с им этого не было... И то сколько раз выбегал сегодня наверх... Захарыч, будь отец родной!.. Доложи ты этому дьяволу!

– Нешто я ему не докладывал? Уж как просил за Куцего. Никакого внимания. Чтобы, говорит, через пять минут Куцый был за бортом!

– Захарыч!.. Сходи еще... попроси... Собака, мол, больна...

– Что ж, я пойду... Только вряд ли... Зверь!.. – промолвил боцман и пошел к старшему офицеру.

В это время Куцый, невеселый по случаю болезни, осунувшийся, с мутными глазами, со сконфуженным видом, словно чувствуя свою виновность, подошел к

Кочневу и лизнул ему руку. Тот с какою-то порывистою ласковостью гладил собаку, и угрюмое его лицо светилося необыкновенною нежностью.

Через минуту боцман вернулся. Мрачный его вид ясно говорил, что попытка его не увенчалась успехом.

– Разжаловать грозил!.. – промолвил сердито боцман.

– Братцы!.. – воскликнул тогда Кочнев, обращаясь к собравшимся на баке матросам. – Слышали, что злодей выдумал? Какие его такие права, чтобы топить конвертскую собаку? Где такое положение?

Лицо угрюмого матроса было возбуждено. Глаза его сверкали.

Среди матросов поднялся ропот. Послышались голоса:

– Это он над нами куражится, Зуда проклятая!

– Не смеет, чума турецкая!

– За что топить животную!

– Так вызволим, братцы, Куцего! Дойдем до капитана! Он добер, он рассудит! Он не дозволит! – взволнованно и страстно говорил угрюмый матрос, не отпуская от себя Куцего, словно бы боясь с ним разлучиться.

– Дойдем! – раздались одобрительные голоса.

– Аким Захарыч! Станови нас во фронт, всю команду.

Дело начало принимать серьезный оборот. Аким Захарыч озабоченно почесал затылок.

В эту минуту на баке показался молодой мичман Кошутич, любимец матросов. При появлении офицера матросы затихли. Боцман обрадовался.

– Вот, ваше благородие, – обратился он к мичману: – старший офицер приказал кинуть Куцего за борт, а команда этим очень обижается. За что безвинно губить собаку? Пес он, как вам известно, справный, два года ходил с нами... И вся его вина, ваше благородие, что он брюхом заболел...

Боцман объяснил, из-за чего вышла вся эта дрязга, и прибавил:

– Уж вы не откажите, ваше благородие, заступитесь за Куцего... Попросите, чтоб нам его оставили...

И Куцый, точно понимая, что речь о нем, ласково смотрел на мичмана и тихо помахивал своим обручком.

– Вон, ваше благородие, и Куцый вас просит.

Возмущенный до глубины души, мичман обещал заступиться за Куцего. На баке волнение улеглось. В лице Кочнева светилась надежда.

VI

– Барон, – взволнованно проговорил мичман, влетая в кают-компанию, – вся команда просит вас отменить приказание насчет Куцего и позволить ему жить на свете... За что же, барон, лишать матросов собаки!.. Да и какое она совершила преступление, барон?..

– Это не ваше дело, мичман Кошутич, – ответил барон. – И я прошу вас не забываться и мнений своих мне не выражать. Собака будет за бортом!

– Вы думаете?

– Прошу вас замолчать! – проговорил барон и побледнел.

– Так вы хотите взбунтовать команду, что ли, своей жестокостью?! – воскликнул мичман, полный негодования. – Ну, это вам не удастся. Я иду сейчас к капитану.

И Кошутич бросился в капитанскую каюту.

Все, бывшие в кают-компании, взглянули на старшего офицера с видимой неприязненностью. Барон, бледный, с улыбкой на губах, нервно теребил одну бакенбарду.

Минуты через две капитанский вестовой доложил барону, что его просит к себе капитан.

– Что там за история с собакой, барон? – спросил капитан и как-то кисло поморщился.

– Никакой истории нет. Я приказал ее выкинуть за борт, – холодно ответил барон.

– За что же?

– Я предупреждал, что если увижу, что она гадит, я прикажу ее выкинуть за борт. Я увидел, что она нагадила, и приказал ее выкинуть за борт. Смеею полагать, что приказание старшего офицера должно быть исполнено, если только дисциплина во флоте действительно существует!

«О, немецкая дубина!» – подумал капитан, и лицо его еще более сморщилось.

– А я попрошу вас, барон, немедленно отменить ваше распоряжение и впредь оставить собаку в покое. Она на корвете с моего разрешения... Мне жаль, что приходится вам отменять свое же приказание, но нельзя же отдавать подобные приказания и без всякого повода раздражать людей.

– В таком случае, господин капитан, я имею честь просить вас отменить самому мое приказание, а я считаю это для себя невозможным. И кроме того...

– Что еще? – сухо спросил капитан.

– Я болен и исполнять обязанностей старшего офицера не могу.

– Так подайте рапорт... И, быть может, вам берего-

вой климат будет полезнее.

Барон поклонился и вышел.

На другой же день, после прихода в Нагасаки, барон фон дер Беринг, к общему удовольствию, списался с корвета, и на «Могучий» был назначен другой старший офицер. Матросы вздохнули.

С отъездом барона Куцый снова зажил свободной жизнью и стал пользоваться еще большим расположением матросов, так как благодаря ему корвет избавился от Чертовой Зуды.

По-прежнему Куцый съезжал на берег вместе со своим другом Кочневым и сторожил его; по-прежнему смотрел вперед и забавлял матросов разными штуками, причем при окрике «Зуда идет!» стремительно улепетывал вниз, но тотчас же возвращался, понимая, что врага его уже нет.